

Лермонтовъ и античность.

Наши поэты-скорбники очень часто, въ поискахъ красивыхъ формъ для выраженія своихъ чувствъ, обращались къ античности. «Русская лирика при рождениі своемъ была крещена въ языческую вѣру и долго молилась всѣмъ греко-римскимъ богамъ». (Котляревскій, Лит. напр. Ал. эп., 135). Особенно выдается въ этомъ отношеніи эпоха Александра I, когда наша поэзія обращалась къ классическому Парнасу не только ради риторическихъ украшений и не во французской передѣлкѣ.

Наиболѣе яркимъ примѣромъ благотворнаго вліянія на душу поэта античной поэзіи и нѣкоторыхъ сторонъ античнаго міросозерцанія является Батюшковъ: очень рано имъ начала овладѣвать меланхолія, около 1822 г. окончательно сломившая его; но передъ этимъ онъ на время успокоился въ животворящемъ общеніи съ античностью, а то немногое, что явилось результатомъ этого общенія, создало его славу и теперь еще сохранило свою художественную цѣнность.

Была ли въ мятежной душѣ Лермонтова возможность такого тѣснаго общенія и взаимодѣйствія съ античностью? Чѣмъ объясняется, можно сказать, почти полное отсутствіе античныхъ образовъ, мотивовъ въ его поэзіи?

Когда Лермонтовъ выступилъ на литературное поприще, наши лирики отъ древнихъ классиковъ обратились къ чтенію Байрона; очень рано сталъ Байронъ знакомъ и Лермонтову, — быть можетъ, въ ущербъ другому чтенію.

Однако попытаемся сначала собрать то, что есть «античного» въ поэзіи Лермонтова, хотя бы тѣ имена, если не образы, которые Лермонтовъ любилъ вспоминать въ разное время.

Мы можемъ сдѣлать это только по печатному академическому изданію сочиненій Лермонтова, но чтобы познакомиться детально, чѣмъ читалъ Лермонтовъ въ школьные годы, по какимъ источникамъ знакомился съ исторіей древней Греціи и Рима,—для этого нужно было бы обратиться къ рукописямъ или ждать, пока они полностью будутъ напечатаны¹⁾.

Такъ, напримѣръ, въ *Записной книжкѣ*, не позже 1827 г., хранящейся въ Императорской Публичной Библіотекѣ, кромѣ стихотвореній, черновыхъ писемъ на французскомъ языке, имѣются выписки изъ *Saint-Ange* и *La Hargre*—на античныя темы (V, 34) изъ «*Vogée et Orithye*», «*Hero et Leandre*», «*Echo et Narcisse*», «*Omphée et Euridyce*» (лл. 4—7).

Въ *Общій тетради* 1829 г.—ученическія упражненія въ переводахъ съ латинскаго... и конспекты одиннадцати «лекцій» по всеобщей исторіи.

Въ ученическомъ сочиненіи «Панорама Москвы», написанномъ въ приподнятомъ патріотическомъ тонѣ, между прочимъ, находимъ сравненіе: «Москва не безмолвная громада камней холодныхъ... Какъ въ древнемъ римскомъ кладбище, каждый ея камень хранить надпись, начертанную временемъ и рокомъ...

Далѣе, интересно, описывается «Петровскій театръ... съ плоской кровлей и величественнымъ портикомъ, на коемъ возвышается алебастровый Аполлонъ, стоящій на одной ногѣ въ алебастровой колеснице, неподвижно управляющей тремя алебастровыми конями и съ досадою взирающій на кремлевскую стѣну, которая ревниво отдаляетъ его отъ древнихъ святынь Россіи!»

Второй и послѣдній разъ упоминается имя Аполлона (Бельведерскаго) въ описаніи наружности чиновника Красинскаго («Княгиня Лагов.» IV, 106).

¹⁾ И пока вообще будетъ собранъ и разработанъ большій матеріалъ для его біографіи.

Въ XI тетради автографовъ Лерм. Музея очень интересная замѣтка:

«Мемор. Написать трагедію: Марій...¹⁾,

Въ 1828 году Лермонтовъ въ письмѣ изъ пансиона къ теткѣ М. А. Шангирей сообщаетъ, что Дубенскій ²⁾ поставилъ ему «4 рус. и 3 лат.», далѣе пишетъ: «Я продолжаль подавать сочиненія мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взялъ инспекторъ, который хочетъ издавать журналъ «Калліопу»...

Подъ «Геркулесомъ» и «Прометеемъ», какъ это видно изъ дальнѣйшаго, подразумѣваются сочиненія на эти темы ³⁾.

Въ произведеніяхъ Лермонтова эти два имени (Геркулесъ и Прометей), которыми такъ удобно пользоваться въ цѣляхъ экономіи поэтической мысли, встрѣчаются всего 3 раза.

Въ ультра-романтической повѣсти 1832 г.:

1) «Онъ (Вадимъ) торжествовалъ, какъ Геркулесъ, побѣдившій змія» (*«Вадимъ»*, IV, 72).

2) Вадимъ ъхалъ скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце (38).

3) «... Но мощный умъ, крѣпясь и каменѣя, ихъ превращаетъ въ пытку Прометея». (*Измаиль-Бей*, II, 59).

Такъ величайшій образъ древности почти не примѣнялся Лермонтовымъ, хотя, казалось бы, онъ такъ долженъ много говорить его мятежной душѣ: вѣдь мы привыкли, подъ вліяніемъ Эсхила, соединять съ этимъ образомъ и гуманную идею, и начала духовной свободы личности, и — что такъ любилъ изображать Лермонтовъ — воплощеніе гордаю страданія... (*Изм.-Б.*, Мп.)

Въ самыхъ раннихъ стихотвореніяхъ изрѣдка мелькаютъ классическія имена, темы; упоминаются нѣсколько разъ традиціонные музъ, граци, зефиры, лира. Эти случаи нетрудно перечесть.

1) Объ этомъ подробно — ниже.

2) Преподаватель пансиона.

3) Объ этихъ работахъ ничего неизвѣстно, ни объ ихъ источникахъ, ни обработкахъ сюжета, ни того, въ стихахъ или прозѣ они были написаны. «Геркулеса и Прометея» звучить такъ, какъ-будто эти работы были памѣтны бабушкѣ Лермонтова и кругу его родныхъ раньше.

Къ 1828 году, когда Лермонтовъ, по его собственному выражению, «началъ марать стихи» (IV, 349), относится стихотворение «Заблуждение Купидона»: ¹⁾.

«Однажды женщины Эрота отодрали...
Досадой раздражень, упяное дитя,
Напрягши грозный лукъ и за обиду мстя,
Не смѣя къ женщинамъ,—къ намъ яростъ острой стали,
Не слушая мольбы усерднѣйшей, стремить и т. д.

Интересно было бы указать источникъ этого стихотворенія.

Въ томъ же году написано сентиментальное стихотвореніе, очевидно, навѣянное Жуковскимъ, но съ сохраненіемъ нѣкоторыхъ ввѣшнихъ атрибутовъ классической лирики, что верѣдко и у Жуковскаго: «Цѣвица».

«На склонѣ горъ, близъ водъ, прохожій, зреялъ ли ты
Бесѣдку тайную, глѣ грустныя мечты
Сидѣть задумавшись? надъ ними сводъ акацій.
Тамъ нѣкогда стоялъ алтарь *и музъ и граци*;
И кустъ прелестныхъ розъ, взлебянныхъ весной,
Тамъ нѣкогда, кругомъ черемухи млечной,
Струилъ свой ароматъ; шумя, съ прибрежной ивой
Штутилъ подъ часъ *зефиръ*, и рѣзвый и игривый;...

(*Зефиръ* встрѣчается еще въ стихотвореніи 1829 г. «Наполеонъ»).

Вліяніе Жуковскаго оказывается не только въ общемъ настроении, мало характерномъ для Лермонтова, но и въ отдельныхъ выраженіяхъ (стихи 1—3).

Муза упоминается еще въ слѣд. стихотвореніяхъ: «Посвященіе NN» (1829 г.), «Пиръ» (1829 г.), «Къ Грузинову» (1829), «Сашка» (1836 г.).

Лира:— «Поэтъ» (1828 г. «Когда Рафаэль вдохновенный», «Къ друзьямъ» (1829 г.), «Письмо» (1829 г.), «Къ генію»

1) Мы пользовались указателемъ именъ, помѣщен. въ V т. ак. изд. Л., но приходилось его дополнять; такъ, напр., не указаны: Аквилонъ и нѣкот. друг.

(1829 г.), Къ ** (1830 г.), Къ ** (О, полно извинять развратъ», 1830 г.), «Сашка» 1836 г.; 2 раза), «Манго» (1836 г.).

Имя *Феба* употреблено Лермонтовымъ одинъ разъ въ стих. «Пиръ» (1829 г.).

Парка,—кромѣ стих. «Письмо» (1829 г.) нигдѣ, кажется, больше не упоминается.

Парнасъ и *Пегасъ* по 1 разу («Портреты», 1829 г.).

Вакхъ—въ стих. «Война» (1829 г.) и еще разъ въ поэмѣ «Сашка» (1836).

Лета—въ «Пѣснѣ» (1829 г.) и въ письмѣ къ А. М. Верещагиной (IV, 315; 1832 г.).

Діана—въ стих. «Наполеонъ» (1829 г.), въ «Сашкѣ» (2 раза), въ «Казначейшѣ» (1837 г.).

Марсъ и *Венера*:—«Въ день рожденія NN» (1829).

Амуръ:—«Глупой красавецъ» («Амуръ спросилъ меня однажды...», 1830 г.).

Источникъ этого стихотворенія не указанъ.

Еще дважды (*Амуръ*) въ «Казначейшѣ» (1837 г.).

Аквилонъ—2 раза въ поэмѣ «Джюлю» (1830 г., I, 197 и 199).

Демосѳенъ—1 р. въ поэмѣ «Сашка» (II, 160).

Аврора—1 р. въ «Казначейшѣ».

Амфитріонъ—тамъ-же.

Въ стихотвореніи «Панъ» (1829 г.) видать вліяніе Мерзлякова¹⁾; сверху замѣчено: «Въ древнемъ родѣ». Стихотвореніе производить своей формой впечатлѣніе изящества, легкости, отсутствія силы, беспечнаго тихаго наслажденія, мало свойственнаго Лермонтову.

«Люблю, друзья, когда за рѣчкой гаснетъ день,
Укрывшия лѣсовъ въ таинственную сѣнь,
Или подъ вѣтвями пустынныя рябины,
Смотрѣть на синяя туманныя равнины
Тогда приходитъ Панъ съ толпою пастуховъ,
И пляшутъ вокругъ меня на бархатѣ луговъ.

¹⁾ Ак. I, Примѣчанія, 362. Интересно будетъ отыскать источникъ этого стихотворенія.

Но чаше богъ овецъ ко мнѣ въ уединенѣе
Является, ведя святое вдохновеніе...
Главу рогатую ласкаетъ легкій хмѣль,
Въ одной руки его стаканъ, въ другой свирель,
Онъ учить пѣть меня, и я въ тиши дубравы
Играю и пою, не зная жажды славы» (I, 65).

Древній Римъ упоминается всего 5 разъ въ произведеніяхъ Лермонтова и еще—въ программѣ трагедіи «Марій» (IV, 357), о которой ниже.

Въ 2-хъ случаяхъ—въ связи съ патріотической мыслью о моемъ Россіи. Измаиль-Бей, (1832 г.) ч. III, 1—3 строфа:

«Какія степи, горы и моря
Оружію славянъ сопротивлялись?»
«Настанеть часъ — и новый грозный Римъ
Украсить Съверъ Августомъ другимъ!» (II, 62).

Стих. 1835 г. («Опять, народные витія...»), проникнутое тоже патріотическимъ боевымъ характеромъ и написанное подъ сильнымъ вліяніемъ Пушкинского «Клеветникамъ Россіи», кончается слѣдующими словами:

«Но честь Россіи невредима,
И вамъ смѣясь внимаетъ свѣтъ!
Такъ въ дни воинственнаго Рима,
Во дни торжественныхъ побѣдъ,
Когда триумфомъ шелъ Фабриций,
И раздавался по столицѣ
Восторга благодарный кликъ,—
Бѣжалъ за свѣтлой колесницей
Одинъ наемный клеветникъ!» (II, 108).

Какъ не похожъ этотъ паѳосъ на чувства Лермонтова къ родинѣ, выраженные позднѣе въ знаменитой «Отчизнѣ» (1841 г.).

«Буйный Римъ» и «развратный»—встрѣчается въ вольномъ переводе изъ Байрона, стих. «Умирающій гладіаторъ» (1836 г.):

1-й ст.: «Ликуетъ буйный Римъ..

Посл. ст.: Прости, развратный Римъ!..».

Наконецъ — мы читаемъ отрывокъ 1841 г.:

«Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима,
Царствовалъ грозный Тиверій и гналь христіанъ без-
пощадно...».

Кромъ Тиверія и Августа (см. выше), изъ императоровъ римскихъ упоминается еще *Неронъ* въ «*Княгинь Мэри*» (ок. 1839—40).

Обращенія къ античности, какъ къ «дней минувшихъ анекдотамъ», у Лермонтова сравнительно съ Пушкинымъ, оч. рѣдки¹⁾.

Въ «*Вадимъ*» (1830 г.) находимъ: «бѣднякъ нимало не смутился и остался хладнокровнымъ, какъ *Сократъ*, когда жена вылила кувшинъ воды на его голову...» (IV, 3).

Другой разъ Сократъ упоминается въ «*Сашѣ*»:

«Ты не хотѣлъ насмѣшки выпить ядъ,
Съ улыбкою притворной, какъ *Сократъ...*» (II, 188).

Въ «*Вадимѣ*» еще греки — «потомки *Леонида*»; пытка *Тантала* (имя больше не употребляется Лермонтовымъ).

Въ «*Княгинѣ Лиговской*» — «пытка *Ахиллеса*».

(1836 г., IV, 134).

Въ «*Кн. Мэри*» (1839—40 г.): слова Печорина къ Грушницкому: «Берегитесь, не надайте заранѣе; это дурная примѣта: вспомните *Юлия Цезаря!*» (IV, 259).

Извѣстный Лермонтовскій «*Экспромтъ*» (1830 г.):

«*Три граціи* считались въ древнемъ мірѣ;
Родились вы — все три, а не четыре!»

связанъ съ античностью не только по упоминаемымъ тамъ граціямъ, но, какъ это показано М. А. Масловымъ, «*Экспромтъ*» въ цѣломъ есть варіація античной темы. Вопросъ только въ томъ, кто былъ посредникомъ между греческой эпиграммой и Лермонтовской передачей²⁾.

1) Ср. отступленіе Пушкина о пирахъ въ «Евг. Онѣг.», сравненіе «Елены пакостной» съ Татьяной тамъ же и т. д.

2) Античные мотивы въ русск. лит. М. Масловъ. Сборникъ Харьк. И.-Ф. О. въ честь Дриона.

Вотъ всѣ упоминанія, такъ или иначе касающіяся античности.

«Какая малость», по сравненію съ Пушкинымъ, который любилъ обращаться къ античности, не только въ началѣ поэтической дѣятельности, подъ вліяніемъ Батюшкова и французскихъ классиковъ, но и подъ конецъ своей жизни («Египетскія ночи» и замѣченій отрывокъ «Цезарь путешествовалъ»).

Для отысканія источниковъ нѣкоторыхъ стихотвореній Лермонтова («Купидонъ», «Глупой красавицѣ», «къ Нэрѣ» и др.) требуется участіе специалистовъ-классиковъ, затѣмъ уже знатоковъ западныхъ литературъ, такъ какъ Лермонтовъ, вѣроятнѣе всего, пользовался переводами съ древнихъ языковъ. Эти поиски источниковъ пролѣютъ нѣкоторый свѣтъ на чтеніе Лермонтова, о чёмъ намъ известно очень мало.

Два замѣчанія на этотъ счетъ.

Обращаетъ на себя вниманіе стихотвореніе 1830 г. «Къ Нэрѣ». Это имя античное. У Горация есть стихотвореніе «Ad Naeram»; ²⁾ упоминается также это имя и въ 14 одѣ, III кн. Стихотвореніе Лермонтова носить какой-то налетъ пластичности, мало свойственной его духу; нѣкоторые эпитеты, какъ «душестое ложе», тоже кажутся не совсѣмъ обычными.

Въ одѣ («Ad populum Romanum») окончаніе какъ-будто имѣть отдаленное сходство съ начальными стихами Лермонтовской пьесы:

«Скажи, для чего передъ нами
Ты въ кудри вплетаешь цвѣты?
Себя ли украсишь ты розой,
Прелестной, минутной, какъ ты?
Зачѣмъ приводить намъ на память,
Что могутъ ланиты твои
Увянуть, что взоръ твой забудеть
Восторги надеждъ и любви?
Дивлюсь я тебѣ: равнодушно,
Безпечно ты смотришь впередъ,
Смѣешься надъ временемъ, будто
Нэру оно обойдетъ...»

²⁾ Кн. I, Эпода 15.

Ужель ты безумнымъ весельемъ
Прогнать только хочешь порой
Грядущаго тѣни? Ужели
Чужда ты веселью душой?
Пять лѣтъ протекутъ—ни лобзаньемъ,
Ни сладкой улыбкою глазъ
Къ себѣ на душистое ложе
Опять не заманишь ты насъ.
О! лучше умри поскорѣе,
Чтобъ юный красавецъ сказалъ:
«Кто былъ этой дѣвы милѣе,
Кто раньше ея умиралъ?...

У Гораций (переводъ Фета):

«Да и Нэрѣ скажи голосистой:
«Косу узломъ, да скорѣй собирайся!»
Если-жъ привратникъ докучный задержитъ—
Не дожидайся;
Волосъ бѣлѣюшій духъ укрощаетъ,
Бойкость не та, и не та ужъ осанка—
Этого я не стерпѣль бы во время
Консула Планка».

Какъ и въ случаѣ, указанномъ выше М. А. Масловымъ, мы имѣемъ, можетъ быть, дѣло съ вліяніемъ французскаго или иного посредника; нужно отыскать болѣе близкія совпаденія.

Любопытно одно мѣсто въ юношеской поэмѣ «Джюлю» (1830 г.):

«Заботы вьются въ сумракѣ ночей
Вокругъ ложа мягкаго, златыхъ кистей;
У изголовья совѣсть—скорпіонъ
Отъ вѣждъ засохшихъ гонить сладкій сонъ;
Какъ вѣтъ преслѣдуется по небу вдалъ
Оторванныя тучки,—*такъ печаль,*
Въ одну и ту же съ нами съѣзъ ладью,
Не отстаетъ ни въ кущѣ, ни въ бою.
Такъ римскій говорить поэтъ—мудрецъ.

(Лерм. I, 195).

Послѣднія слова не представляютъ ли вольной передачи нѣсколькихъ стихоаѣ Гораций (Кн. III, ода 1, «Къ хору дѣвъ и мальчиковъ»):

«Jed Timor et Minae
Scandunt eodem, quo dominus, neque
Decedit aerata triremi et
Post equitem sedet atra Cura».

Въ переводѣ Фета:

...Страхъ и тоска идутъ тѣми-жѣ слѣдами...
Онъ на корабль—и забота на палубѣ;
Онъ на коня—и печаль за плечами...»

(Стиху 215-му отчасти 213, 214-му у Лермонтова соотвѣтствуютъ слѣд. стихи у Гораций, въ переводѣ Фета:

...—нѣть сласти въ богатыхъ
Яствахъ, и сна не вернуть благодатнаго
Цитры напѣвы и голосъ пернатыхъ.
Сладостный сонъ не минуетъ убогаго
Сельского крова... (стр. 78)

Извѣстно, какъ внимательно читалъ Пушкинъ Тацита, какъ онъ прилежно изучалъ бытъ древнихъ римлянъ.

Анакреонъ, Тацитъ и Овидій—излюбленные античные писатели Пушкина; онъ зналъ ихъ, особенно 2-хъ послѣднихъ, они вызвали рядъ стихотвореній его, то подражаній, то оригинальныхъ по содержанію и замыслу, но обязанныхъ формой.

Мы видѣли, что у Лермонтова ничего этого не наблюдается; немногія имена и образы античные падаютъ преимущественно на первые годы его поэтической дѣятельности,—тѣмъ болѣе вниманіе наше не можетъ не привлечь отрывокъ, написанный *гекзаметромъ*, отрывокъ, единственный не только по размѣру, но и по содержанію и настроенію. Онъ относится къ 1841, т. е., послѣднему году жизни поэта. Мы разсмотримъ этотъ отрывокъ въ связи съ программой трагедіи «Марій». Программа сохранилась въ тетрадяхъ поэта и составлена приблизительно за десять лѣтъ до упомянутаго отрывка.

Написать трагедию: *Марій*, изъ Плутарха. Дѣйствія:

1) Его жизнь въ Римѣ во время его консульства и изгнаніе Суллою.

2) Когда Марій въ изгнаніи бродитъ, и взять, и Цабрскій невольникъ не смѣеть убить его.

3) Сынъ Марія при дворѣ сатрапа освобождаемъ невольницею, и Марій въ Карлагенѣ.

4) Цинна въ Римѣ. Пришествіе Марія, тиранства, убийства, и проч. (между прочимъ: Антонія, оратора убили).

5) Марій предчувствуетъ гибель. Онъ умираетъ. Сластолюбивый сынъ его тиранствуетъ, но угрожаемъ Суллою, бѣжитъ изъ Рима и въ Пернестѣ убиваетъ себя. —

Сыну Марія, передъ смертью, въ 5 дѣйствіяхъ, является тѣнь его отца и „повелѣваетъ“ умереть, ибо родъ ихъ долженъ ими окончиться (XI тетр. автогр. Лерм. муз. л. 7; Акад. IV, 357).

Припомнимъ нѣкоторая мѣста изъ Плутарха, чтобы увидѣть, что привлекло вниманіе Лермонтова, что поразило его воображеніе въ разсказѣ греческаго историка — моралиста. Намъ кажется, — прежде всего, *фонъ*, на которомъ разыгрываются всѣ события жизни этого героя — времени Марія и Суллы, контрастъ силы и величія, высшей степени могущества и цивилизациіи — съ одной стороны, и разыгрывающіяся страсти высокочекъ, ни передъ чѣмъ не останавливающихся, заискивающихъ у народа или аристократіи, вражда ихъ — съ другой.

Плутархъ, по обыкновенію, подходитъ къ біографіи Марія, не какъ историкъ, но какъ моралистъ и психологъ; для него жизнь Марія, полная всякихъ превратностей, поднимавшая его на высочайшую степень славы и могущества и повергавшая его въ неменьшія опасности, бѣствія и униженія, для него эта жизнь 1) иллюстрація известныхъ этическихъ истинъ, 2) результатъ не только опредѣленного душевнаго склада, но и воспитанія.

«Что касается до наружности Марія, то мраморная его статуя, вѣнчанная мною въ Равеннѣ,... прекрасно выражаетъ приписываемый ему мрачный и суровый характеръ. Храбрый отъ природы и воинственный, онъ получилъ образованіе, приличное скорѣй солдату, нежели мирному гражданину, поэтому не могъ, на верху

своего могущества, сдерживать своей вспыльчивости». (Пирръ и Марій, перев. Алексеева, изд. Суворина, 149).

Какъ типично для культурнаго грека такой отзывъ! Плутархъ и дальше не разъ подчеркиваетъ эту грубость души Марія—варвара, рядомъ съ его военнымъ геніемъ, неукротимой отвагой и энергией.

Когда Марій узналъ о захватѣ Антонія—оратора, котораго искалъ, «онъ громко вскрикнулъ и отъ радости захлопалъ въ ладоши. Онъ едва не выскочилъ изъ-за стола, чтобы побѣжать на то мѣсто; но друзья его удержали...»¹⁾ (209 стр.).

Марію было въ это время около 70-ти лѣтъ.—Продолжимъ нашу выписку изъ Плутарха.

«Говорять, онъ никогда не занимался греческой литературой и не говорилъ по-гречески... онъ считалъ смѣшнымъ изучать литературу, преподаватели которой были рабами другихъ...

Платонъ часто говорилъ нѣсколько угрюмому философу Ксено克拉ту: «Дорогой Ксено克拉ть, приноси жертвы харитамъ». Если бы и Марію посовѣтовали «приносить жертвы» греческимъ музамъ и харитамъ, онъ не окончилъ бы своихъ громкихъ подвиговъ во время войны и мира такъ позорно, не сдѣлялся бы въ старости такимъ гровожаднымъ звѣремъ, вслѣдствіе своей вспыльчивости, несвоевременнаго честолюбія и ненасытной алчности» (св., 149—150).

Такъ приступаетъ Плутархъ къ жизнеописанію Марія, который «хотѣлъ быть первымъ, не заботясь быть лучшимъ». Съ первыхъ шаговъ своей дѣятельности Марій показываетъ себя человѣкомъ, «неспособнымъ дрожать ни передъ кѣмъ или принимать въ разсчетъ свое уваженіе къ кому-либо...» (152).

Марій не былъ ни богатъ, ни краснорѣчивъ, но его «гордость, упорное трудолюбіе и простота жизни имѣли въ глазахъ народа нѣкоторую цѣну... Марію приписываютъ строгій образъ жизни и самообладаніе».

Передается, какъ Марій, желая избавиться отъ безобразившей его ноги опухоли, «вытянулъ ему (врачу) ногу и несвязаннымъ,

¹⁾ Ср. знаменитую сцену въ «Ревизорѣ», изображающую торжество городаичаго посольства отъѣзда Хлестакова.

не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, не испустилъ ни одного стона, со спокойнымъ лицомъ, молча перенесъ страшную боль отъ ножа...» (154).

«...Марій не боялся самыхъ большихъ трудовъ, какъ не пренебрегалъ и самыми малыми. Онъ стоялъ выше равныхъ себѣ званіемъ—своимъ благоразуміемъ и благодѣтельной предусмотрительностью, съ солдатами—спорилъдержанностью и храбростью и пріобрѣль этимъ себѣ горячую любовь. Повидимому, трудащагося утѣшаешь, вообще, то, что другіе добровольно дѣлять съ нимъ трудъ... Ничто не можетъ быть пріятнѣе для римскаго солдата, какъ видѣть полководца, который єсть, въ присутствіи всѣхъ, простой хлѣбъ, спить на простой постели или работаетъ вмѣстѣ съ другими при рытьѣ рва или устройствѣ частокола вокругъ лагеря. Солдаты не такъ уважаютъ полководца, который даетъ имъ награды и деньги, какъ того, кто раздѣляетъ ихъ труды и опасности, любить больше того, кто работаетъ вмѣстѣ съ ними, нежели позволяетъ себѣ сидѣть сложа руки. Поступая такимъ образомъ во всемъ, Марій привлекъ на свою сторону войско, и такъ же скоро наполнилъ славой своего имени Африку, какъ скоро наполнилъ ею Римъ». (155).

Послѣ избранія консуломъ... его *дерзкія слова, соединенные съ гордостью и презрѣніемъ*,¹⁾ оскорбляли аристократію. Онъ громко говорилъ, что его консульство—добыча, отнятая имъ у изнѣженныхъ аристократовъ и богачей, и что онъ можетъ хвастаться передъ народомъ своими ранами, а не гробницами умершихъ или чужими бюстами...» (157).

— Марій, когда всѣ сожалѣли о казненномъ Турпиліи, не краснѣя говорилъ всѣмъ и каждому, что это дѣло его рукъ... (156). Разсказывая о возникновеніи вражды Марія съ Суллой, Плутархъ объясняетъ ее прежде всего тѣмъ, что Марій честолюбивый, суровый, «не умѣлъ дѣлиться славой съ другими»...

Зато военная слава, по праву, должна остаться за нимъ. Его изобрѣтательность на войнѣ не имѣла границъ. Тутъ Марій дѣйствовалъ, прежде всего, на психику солдатъ. Съ неослабѣвающимъ интересомъ читаются эти строки у Плутарха. Когда Марій далъ

¹⁾ Курсивъ нашъ.

солдатамъ изучить лично его... «суроность Марія вначалѣ и его беспощадность въ наказаніяхъ показалась имъ справедливой и спасительной. Его *неукротимый гнѣвъ*, его *грубый голосъ и дикий взглядъ*, къ которымъ они постепенно привыкли, были, въ ихъ глазахъ, страшны не имъ, а непріятелямъ...» (164). Постигнувъ ту психологическую истину, что «новость впечатлѣнія придавала страннымъ на видъ предметамъ много свойствъ, какихъ у нихъ нѣть въ дѣйствительности, и что сила привычки дѣлала нестрашнымъ даже страшное отъ природы», — Марій добился того, что, «ежедневно глядя на непріятелей, ¹⁾ солдаты не только переставали удивляться имъ, — ихъ сердца горѣли яростью и желаніемъ сразиться съ ними.. ²⁾ (167).

Послѣ побѣды надъ тевтонами и кимврами, «3-й основатель Рима» достигъ вершинъ своей славы: «Каждыйправлялъ праздникъ у себя въ домѣ вмѣстѣ съ женами и дѣтьми, при чёмъ приносилъ Марію наравнѣ съ богами, начатки обѣда и совершалъ въ честь его возліянія...» (174).

Но вотъ наступаетъ мирное время, и Марій превращается изъ героя въ самаго неразборчиваго интригана и предателя лучшихъ людей своего времени. Путемъ всякихъ злодѣйствъ и двуличія, онъ добивается 7-кратнаго избрания въ консулы. Марій «не былъ созданъ для мирной жизни... въ бездѣйствіи и тиши слабѣли его силы и увядала слава, — и онъ сталъ искать случая для новой дѣятельности». (190). «*Есть сила*», говорить Плутархъ, «которая не даетъ тому, кто испыталъ большое счастье, чистой, ничтъмъ несмущаемой радости». Этой силѣ былъ подверженъ Марій.

«Сдѣлавшись изъ бѣдняка страшнымъ богачемъ, изъ ничтожества достигнувъ высшихъ должностей, онъ не зналъ мѣры своему счастію. Ему было мало, что его уважали, что онъ могъ спокойно пользоваться настоящимъ, — у него какъ-будто ничего не было, и, послѣ триумфовъ и славы, онъ, въ глубокой старости, рѣшилсяѣхать...

1) Тевтоновъ, страшныхъ своей дикостью, многочисленностью и воинственностью.

2) Ропотъ солдатъ описанъ у Плутарха такъ, что невольно вспоминается соответственное мѣсто знаменитаго Лермонтовскаго „Бородина“:

„Досадно было, боя ждали; роптали старики...

Боятся, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русскіе штыки!..“

попытать счастье въ борьбѣ съ сатрапами Митридата....» (193). Злоключенія Марія послѣ торжества Суллы, опасности умереть съ голода, быть брошеннымъ въ море, убитымъ врагами, которые всюду его преслѣдовали, униженія Марія («Марій плакалъ и умолялъ матросовъ...», «онъ упалъ къ ногамъ рыбака и умолялъ его быть спасителемъ и защитникомъ»), казалось, должны были положить конецъ этой жизни. «Нагой, покрытый грязью, онъ былъ вытащенъ (изъ болота, гдѣ скрывался) и уведенъ въ Минтуры, гдѣ было решено немедленно умертвить плѣнника, согласно приказамъ изъ Рима. Лермонтовъ предполагалъ отвести второе дѣйствіе скитаніямъ Марія, которая поразили его¹⁾, какъ и знаменитая слѣдующая сцена:

«Никто изъ гражданъ не рѣшился привести въ исполненіе ихъ намѣренія; нашелся всадникъ, галль или кимбръ,—относительно его происхожденія историки говорятъ различно. Онъ взялъ мечъ и вошелъ къ Марію. Говорятъ, солдату почудилось, что изъ глазъ Марія вырвался цѣлый снопъ пламени. Изъ темнаго угла раздался громкій голосъ: «И ты, несчастный, дерзнешь поднять руку на Гая Марія!..». Варваръ тотчасъ же выбѣжалъ вонъ, бросилъ мечъ и, уходя изъ дома, кричалъ одно: «*Нѣтъ, я не могу убить Гая Марія!..*».

Не менѣе эффектную, даже величественную минуту въ жизни Марія описываетъ Плутархъ, когда, высадившись на берегу Африки, онъ, разсчитывая на пріютъ здѣсь, неожидано получилъ отъ пропретора запрещеніе оставаться въ этой странѣ подъ угрозой «поступить съ нимъ, какъ съ врагомъ римского народа».

«Когда Марій услышалъ это, онъ отъ горя и досады не могъ произнести ни слова. Онъ долго оставался недвижимъ, сурово смотря на раба. На вопросъ, что прикажетъ онъ отвѣтить пропретору, Марій тяжело вздохнулъ и произнесъ: «*Скажи, что ты видѣлъ изгнаника Гая Марія сидѣвшимъ на развалинахъ Кареагена*»,— отвѣтѣ, какъ нельзя лучше напоминавший объ участіи этого города и перемѣнчивости счастья въ жизни самого Марія...». Освобожденіе сына Марія невольницей сатрапа, полюбившей его, описано у Плутарха кратко.

1) Возможно, что отголоски этого чтенія отразились въ «Вадимѣ» (скітанія Палицыныхъ).

Счастье, благодаря Циннѣ и неожиданному союзу съ нимъ, въ послѣдній разъ улыбнулось Марію. Нередъ вступлениемъ въ Римъ обоихъ «въчно сурое выражение его лица и мрачный взглядъ Марія говорили, что онъ скоро наполнитъ столицу потоками крови»... Дѣйствительно, если Цинна цѣлымъ рядомъ убийствъ насытилъ свою кровожадность, то ярость Марія не имѣла границъ.

Плутархъ останавливается на 2-хъ трогательныхъ случаяхъ преданности слугъ къ 2-мъ гонимымъ. Одного изъ нихъ, знаменитаго оратора Антонія, это, впрочемъ, не спасло отъ тѣлохранителей Марія. Марій ¹⁾ отправилъ Аппія съ отрядомъ солдатъ и приказалъ ему немедленно принести голову Антонія.

Убийцы подошли къ дому. Аппій остановился въ дверяхъ, солдаты... влѣзли по лѣстницѣ въ комнату, гдѣ находился Антоній. При взглядѣ на Антонія никто не рѣшился убить его, одинъ побуждалъ другого исполнить данное имъ порученіе. Такъ велика была прелестъ и сила его слова, что никто не посмѣлъ взглянуть ему даже въ лицо, когда онъ сталъ говорить и умоляль оставить ему жизнь. Всѣ стояли съ опущенными головами и плачали. Произошла остановка. Аппій вошелъ и увидѣлъ, что Антоній говоритъ рѣчь, солдаты же поражены и очарованы его словами. Онъ выругалъ ихъ, бросился на Антонія и самъ отрубилъ ему голову...» (209 стр.).

Избранный въ 7-ой разъ консуломъ, Марій не измѣнился. А между тѣмъ старость и усталость брали свое.

«Ночью ему грезились призраки; ему снились страшные сны; ему чудилось всегда, что онъ слышитъ голосъ, который говорить:

«Страшно логовище льва, хотя въ немъ и нѣтъ льва»... (211).

Конецъ Марія, его смерть и размышленія Плутарха по поводу описанной жизни:

«...во время этой болѣзни впопытѣ обнаружилось его честолюбіе. Въ бреду, ему казалось, что онъ командуетъ въ войнѣ съ Митридатомъ; онъ дѣлалъ различныя тѣлодвиженія и обороты и громко кричалъ; изъ его устъ часто раздавался военный кличъ. Вотъ какъ глубоко вкоренилась въ его сердцѣ страстная жажда

¹⁾ См. выше—радость Марія при обнаружении Автонія.

почестей, жажда, имѣвшая своимъ источникомъ честолюбіе и ревность! Онъ прожилъ семьдесятъ лѣтъ, былъ семь разъ консуломъ, — чего не случалось ни съ кѣмъ—имѣлъ домъ и состояніе, котораго хватило бы для многихъ взятыхъ вмѣстѣ царей, и все-таки плакался на свою судьбу и жалѣлъ, что умираетъ, не приведя въ исполненіе своихъ плановъ.

Иначе умиралъ Платонъ.

Передъ приближеніемъ смерти, онъ благодарила своего генія и судьбу... Говорить, и Антипатръ Тарсскій... ...За всякий даръ со стороны счастья онъ горячо благодарила его, считалъ этотъ даръ полученнымъ какъ бы отъ доброго друга и всю жизнь удерживалъ его въ своей памяти, самомъ вѣрномъ хранилищѣ благъ для человѣка. Но неблагодарные и глупцы незамѣтно забываютъ современемъ все, что было съ ними.. Они собираютъ, копятъ внѣшнія блага, не положивъ имъ прочнаго основанія, фундамента, разсудкомъ и воспитаніемъ, вслѣдствіе чего не въ состояніи насытить своей алчной души.

Марій умеръ въ семнадцатый день своего седьмого консульства. Избавившись отъ жестокой тирании, Римъ былъ внезапно охваченъ радостью и довѣріемъ къ своимъ силамъ, но черезъ нѣсколько дней населеніе убѣдилось, что старика-деспота замѣнилъ молодой, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,—такой жестокостью и кровожадностью отличался сынъ его, Марій, убивая аристократовъ и лучшихъ изъ гражданъ. Сперва думали, что онъ мужественно, презирая опасности, встрѣтить непріятеля, вслѣдствіе чего ему дали прозвище «сына Марса»; но вскорѣ онъ своими поступками обманулы это ожиданіе и получилъ другое прозвище — «сына Венеры». Наконецъ Сулла заперъ его въ Пренестѣ... и онъ покончилъ самоубійствомъ». (213 стр.).

Не только самыя событія жизни, но и освѣщеніе, данное Иллітархомъ, должно было произвести впечатлѣніе на Лермонтова. Мы видимъ, какъ близокъ онъ въ своей программѣ къ Иллітарху. У Иллітарха заимствованы самые эффектные моменты разсказа: то моментъ высшей славы Марія и его могущества (1-е дѣйствіе), то, паоборотъ, Лермонтовъ, пораженный превратностью судьбы Марія, привлеченъ его необычными приключеніями, опасностями, въ кото-

рыхъ Марій проявляетъ какую-то сверхъестественную неугасимую увѣренность въ конечномъ успѣхѣ и почти демоническое вліяніе силой и суровостью своей необыкновенной личности. (2-е дѣйствіе, эпизодъ съ «Цибрскимъ» невольникомъ). 3-е дѣйствіе должно было передавать переходныя событія въ жизни Марія. Въ 4-мъ Марій снова на верху могущества; бѣдствія не исправили его, онъ остается попрежнему неукротимо жестокимъ, а въ ряду стихійныхъ злодѣйствъ Марія Лермонтовъ остановился на величайшемъ, по его мнѣнію, на убийствѣ Марка-Антонія, вдохновленного оратора, римскаго Орфея, столь неотразимаго въ красотѣ своей рѣчи, что суровые солдаты плакали, не рѣшаясь поднять на него руку.

Эта смерть какъ-будто должна была истощить терпѣніе боговъ,— въ 5-мъ дѣйствіи гибнетъ не только онъ, но и сынъ его, а съ немъ—и родъ Марія.

Только конецъ трагедии долженъ былъ отступить отъ повѣстованія Плутарха, у котораго ильмъ «тини отца, повелѣвающей умереть, ибо родъ ихъ долженъ ими окончиться» (см. выше) (357, IX).

Но и на это дань намекъ у Плутарха. См. подчеркнутое нами мѣсто о снахъ Марія, призракахъ, мучившихъ его во время болѣзни¹⁾.

Разрушительная сила, живущая въ вѣчно мятежной душѣ человѣка, не дающая ему успокоиться, рано стала предметомъ раздумья Лермонтова. Въ 1832 г., 18-ти лѣтъ, онъ уже почувствовалъ себя въ состояніи образно, не риторически, описать ее въ знаменитомъ стихотвореніи «Парусъ».

«Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой...
А онъ, мятежный, просить бури,
Какъ-будто въ буряхъ есть покой!» (II, 16).

Общеизвѣстны дальнѣйшія вариаціи этой же темы, ставшія классическими:

...Жалкій человѣкъ...
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,

1) Еще доказательство, какъ внимательно читалъ Л. Плутарха: предполагавшія сцены о «сластолюбивомъ» молодомъ Маріи, о которомъ у Плутарха—всего нѣсколько словъ («сынъ Венеры»).

Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,—
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуѣтъ онъ... Зачѣмъ?...»

(Валерикъ, 1840 г.; II, 304).

Однако сдѣлать иллюстраціей этой мысли трагедію,—да еще изъ римской жизни,—16-ти лѣтній поэтъ былъ не въ силахъ; замыселъ, очень широкій, остался невыполненнымъ.

Въ 1841 г. Лермонтовъ снова обращается къ древнему Риму, задумавъ написать поэму изъ жизни первыхъ христіанъ при императорѣ Тиберіи. Отъ задуманной поэмы остался одинъ отрывокъ, но въ высшей степени интересный для характеристики той перемѣны въ настроеніяхъ поэта, которая замѣчается къ концу его жизни. Припомнимъ его.

«Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима.

Царствовалъ грозный Тиверій и гналъ христіанъ
безпощадно;
Но ежедневно, на мѣстѣ отрубленныхъ вѣтвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленѣли побѣги.» .
(II, 334).

Такъ начинается неоконченная поэма съ определеніемъ мѣста и времени событий, съ краткой характеристикой эпохи гоненій на христіанъ, гоненій безпощадныхъ, но тщетныхъ. 3-й и 4-й стихи художественно даютъ предчувствовать торжество христіанской идеи.

Въ стихахъ 5—8 мы знакомимся съ христіаниномъ подвижникомъ-старцемъ: ¹⁾.

„Въ тайной пещерѣ надъ Тибромъ ревущимъ скрывался
въ то время
Праведный старецъ, въ посты и молитвѣ свой вѣкъ доживая;
Богъ его въ людяхъ своей благодатью прославилъ;
Чудный онъ даръ получилъ: исцѣлять отъ недуговъ тѣлесныхъ
И отъ страданій душевныхъ». (ib.).

Такимъ же ровнымъ тономъ, поддерживаемымъ величаво-степеннымъ гекзаметромъ, ведется весь отрывокъ — 32 стиха.

1) Не анахронизмъ?

Настроение тихое, благочестивое, несолько грустное, но оптимистическое—словомъ, христіанское.

Лермонтовъ уже «Пѣсню про царя Ивана Васильевича» заявилъ себя мастеромъ повѣствовать въ эпическомъ тонѣ, уже тогда (1836—7 г.) онъ умѣлъ съ обычнымъ въ народномъ эпосѣ спокойствіемъ соединять затаенную грусть; особенно замѣчательна этимъ 3-я часть «Пѣсни». Въ настоящемъ отрывкѣ мастерство Лермонтова достигло высшей степени, къ прежнимъ качествамъ присоединилась еще необыкновенная сжатость и содержательность.

Въ языкѣ обращаеть на себя вниманіе обиліе эпитетовъ—то живописныхъ, то эмоціональныхъ, особенно послѣднихъ.

Кромѣ языка и построенія, мастерство сказывается въ геніальномъ умѣніи ввести сразу въ кругъ особыхъ настроеній, въ особый міръ, геніально раскрываемый 2—3-мя штрихами.

Разбирая отрывокъ «Цезарь путешествовалъ» Пушкина, г. Черняевъ говоритъ: «Поэтъ сдѣлалъ всего несолько штриховъ, а Петровій стоитъ передъ нами, какъ живой» (Крит. ст. и зам. о П., 423). То же самое можно сказать объ отрывкѣ Лермонтова. Въ 8 $\frac{1}{2}$ стихахъ, приведенныхъ выше, поэтъ геніально нарисовалъ фонъ для будущей поэмы и фигуру подвижника—главнаго виновника будущихъ событий.

Дальше 4 стиха представляютъ завязку:

«...Рано утромъ однажды,

Горько рыдая, приходить къ нему старуха простого
Званья; съ нею и мужъ ея, грусти безмолвной исполненъ.
Просить она воскресить ея дочь, внезапно во цвѣтѣ
Дѣвственной жизни умершую»...

Дальше идетъ рѣчь матери, распадающаяся на несолько частей:

1) разсказъ ея о несчастьѣ:

«Вотъ ужъ два дня и двѣ ночи,—

Такъ она говорила,—мы нашихъ боговъ неотступно
Молимъ во храмахъ и жжемъ ароматы на мраморѣ хладномъ,
Золото сыплемъ жрецамъ ихъ и плачемъ... но все бесполезно!»

2) Описаніе Виргинії, впечатлѣнія ея на окружающихъ и
того, чѣмъ она была для родителей:

«Если бы зналъ ты Виргинію нашу, то жалость стѣснила-бы
Сердце твое, равнодушное къ прелестямъ міра: какъ часто
Дряхлые старцы, любуясь на бѣлыхъ плети, волнистыя кудри,
На темныя очи ея, молодѣли; юноши страстнымъ
Взоромъ ее провожали, когда напѣвая простую
Пѣсню, амфору держа надъ головой, осторожно тропинкой
Къ Тибру спускалась она за водою, иль въ пляскѣ,
Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ побѣждала искус-
ствомъ».

Но воть въ безпечной красавицѣ—дѣвушкѣ происходитъ рѣзкая
перемѣна; неподражаемо передается и недоумѣніе матери передъ
недоступнымъ ея пониманію переворотомъ, и огорченіе ея, и безпо-
мощность:

«Только въ послѣднее время примѣтно она измѣнилась:
Игры наскучили ей, и взоръ отуманился думой;
Изъ дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечеромъ темнымъ, и ночи безъ сна проводила».

Мать видѣла однажды Виргинію на молитвѣ:

«При свѣтѣ
Поздней лампады я видѣла разъ, какъ она, на колѣняхъ,
Тихо, усердно и долго молиласъ... кому?.. неизвѣстно»...

Картина растерянности и грустнаго недоумѣнія дополняется.—
Тогда рѣшено было принять мѣры:

Созвали мы стариковъ и родныхъ для совѣта; рѣшили...
..... (II, 334)

На этомъ обрывается рѣчь матери.

Чеховъ говорилъ о языкѣ Лермонтова: «Я не знаю языка
лучше, чѣмъ у Лермонтова. Я бы такъ сдѣлалъ: взяль бы его раз-
сказъ и разбираль бы, какъ разбираютъ въ школахъ, по предло-
женіямъ, по частямъ предложенія... Такъ и учился бы писать».
«Русск. М.» 1911 г., X, 46). То же самое можно сказать и о
приведенномъ отрывкѣ; продолжи его Лермонтовъ,—и онъ даль бы

идеальный образец эпического стиля, воскресивъ во всей прелести и простотѣ «гекзаметра священные наимѣны». А между тѣмъ Лермонтовъ единственный разъ только обратился къ этому любимому размѣру античной поэзіи.

Обращаясь теперь снова къ юношеской программѣ трагедіи «Марій», мы узнаемъ въ этомъ планѣ юношу-Лермонтова, автора нѣсколькихъ драмъ, очень мрачныхъ по событіямъ и судьбѣ дѣйствующихъ лицъ. Любопытно, что Лермонтовъ задумалъ не одну историческую трагедію; изъ *римской* исторіи, кромѣ «Марія», была мысль написать, какъ это видно по той же XI тетр. автографовъ Лермонтовскаго музея, еще трагедію «Неронъ»: *Ecrire une tragédie «Neron»* (V, 359). Возбужденная фантазія искала обстановки и героеvъ съ печатью величія и силы — то въ Римѣ, то въ древней Руси, то на Кавказѣ.

Римъ республиканскій, когда героизмъ былъ, такъ сказать, общей чертой многихъ, не такъ привлекателенъ,¹⁾ какъ Римъ передъ началомъ имперіи или императорскій, когда онъ сдѣлался аrenoю борбы честолюбивыхъ личностей за власть.

По мѣрѣ того, какъ созрѣвалъ Лермонтовъ, его вниманіе останавливалось на иныхъ предметахъ, на иныхъ сторонахъ жизни. Этотъ переходъ къ инымъ настроеніямъ охарактеризованъ Лермонтовымъ въ стихотвореніяхъ 1840 г. (II, 295 и въ другихъ).

Поэтъ послѣдовательно то переживалъ состояніе *отчужденія* одиночества,²⁾ то признавалъ наиболѣе разумнымъ эгоистическое отношеніе къ людямъ, то становился *во враждебное отношеніе* къ жизни, индифферентное, наконецъ, въ послѣднихъ стихотвореніяхъ Лермонтова звучить нерѣдкоnota *грустно-смиренная, отчасти религіозная* (Котляревскій, М. Ю. Лер. 324). Мы не можемъ не связать съ этой эволюціей и той разности, которая замѣчается въ разсмотрѣнной выше программѣ и такъ много обѣщавшемъ отрывкѣ. Что интересовало Лермонтова въ древнемъ Римѣ около 1830 г., то черезъ 10 лѣтъ перестаетъ его интересовать. Нѣть сомнѣнія, что поэтъ хотѣлъ изобразить столкновеніе 2-хъ различныхъ міросозерцаній: языческаго и христіанскаго. Передъ нами начало поэмы изъ

¹⁾ Для юноши Лермонтова.

²⁾ Пользуемся опредѣленіями Нестора Котляревскаго.

древне-христіанской жизни. Замѣчательно, что эта задача привлекала и Пушкина: въ «Галубѣ» Пушкинъ предполагалъ вывести христіанского миссіонера; въ программѣ отрывка «Цезарь путешествовалъ» на это указываютъ слова: «рабъ-христіанинъ».

На зарѣ своей юности Лермонтовъ увлекается личностью Марія, яркаго представителя «желѣзного» Рима, силы и ненасытимой жажды власти. А когда «душевныя бури истомили Лермонтова, и потребность примиренія начала пересиливать въ немъ всѣ титаническіе порывы его сердца»¹⁾, — поэтъ обратился къ тому же «могучему Риму», но теперь онъ его береть, какъ фонъ, на которомъ хочетъ выявить психологію христіанского смиренія и все-побѣждающей любви; въ настоящемъ случаѣ онъ заговорилъ такимъ проникновеннымъ стихомъ, столько простоты и грусти звучитъ въ его рѣчи, что мы не знаемъ, почему этотъ отрывокъ не ставится на ряду съ его 2-мъ «Молитвами». «Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима» — своеобразное соединеніе христіанского настроенія и пластичности формы античной поэзіи²⁾.

Въ жизни Лермонтова сыграли огромную роль неблагопріятно сложившіяся обстоятельства; послѣдними объясняется много печальнаго въ его жизни, — не только натурой пессимиста...

Въ 1822 г. Пушкинъ писалъ Гаѣдичу изъ Кишинева: «по-жалѣйте обо мнѣ: живу между готовъ и сарматовъ, никто не понимаетъ меня; со мною нѣть просвѣщенаго Аристарха, пишу какъ-нибудь, не слыша ни живительныхъ совѣтовъ, ни похвалъ, ни по-рицаній...» Лермонтовъ всю жизнь не имѣлъ ихъ.

Фатально не везло Лермонтову въ университетѣ, гдѣ лучшіе профессора или ушли или появились съ уходомъ Лермонтова (Гравновскій). Такъ же неблагопріятно было и время поступленія въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Къ этому надо присоединить

1) Н. Котляревскій.

2) Въ 32-хъ стихахъ дано такъ много, что этотъ маленький отрывокъ можетъ выдержать сравненіе съ цѣлой поэмой изъ той же жизни другого позднѣйшаго поэта, поэмы чрезвычайно риторического характера («Христіанка», Надсона). Между прочимъ, показателемъ художественности отрывка служить количественное отношеніе образныхъ и необразныхъ словъ, по приблизительному подсчету удовлетворяющее т. н. «золотой пропорціи». См. статью Бол. Пруссса о «Фарисѣ» Мицкевича въ Сб. 1898 г. въ честь послѣдняго.

еще одно обстоятельство: Лермонтовъ былъ лишенъ одного живо-творного источника, который могъ бы обогатить его поэзію и, возможно, повліять на ускореніе того процесса умиротворенія душевнаго, которое все чаще обнаруживается къ концу его жизни: мы разумѣемъ общеніе съ античнымъ міромъ. Какая громадная разница сравнительно съ Пушкинымъ!

A. Krakovz.
